

УДК 82-94“19”

## «Я ЖЕ – ЧЕЛОВЕК ОБЫКНОВЕННЫЙ»: АНАЛИЗ ДВУХ ЖЕНСКИХ ДНЕВНИКОВ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

**Ирина Леонардовна Савкина**

доктор философии, лектор отделения русского языка, культуры и переводоведения  
Тамперский университет (Финляндия)

Kanslerinrinne 1 FIN-33014 Tampereen yliopisto Finland. irina.savkina@staff.uta.fi

Материалом исследования являются два женских дневника советского времени: Н.С. Лашиной (1906–1990) и М.С. Сусловой (1926–2008), к которым можно равным образом применить определения «дневник повседневности», «дневник обыкновенной женщины». С одной стороны, сравнение рефлексивного и наивного, бытового дневников позволяет обнаружить различия как в самом понимании «обыкновенности», так и в вербальных стратегиях ее репрезентации. С другой стороны, сопоставление дает возможность выявить общность в поведенческих тактиках отношений с властью, так как ситуация двойной маргинальности (социальной и гендерной) обеспечивает частичное дистанцирование от «игр власти». В то же время оба дневника показывают огромную зависимость авторов от доминантных представлений о роли женщины – жертвенной матери и контролирующей жизнь мужа и семьи жены. Эти матриархальные практики изображаются в дневниках (у Лашиной – сознательно; у Сусловой – непроизвольно) как неизбежные, необходимые для выживания.

**Ключевые слова:** женский дневник; наивное письмо; обыкновенность; история повседневности; гендерные отношения.

Плачет Бог, читая на том свете  
Жизнь незамечательных людей.

*А. Кушнер*

Авторы автобиографических и дневниковых текстов, написанных на разных языках и в разное время, часто начинали свое сочинение с обсуждения мучительного, почти раскольниковского, вопроса: «Вошь я дрожащая или право имею?», или – в менее драматической форме: «Владею ли я правом писать и рассказывать свою историю? кому и почему это может быть интересным?» Кажется, что с наступлением эры Интернета, развитием блогосферы и твиттеромании, эта проблема потеряла актуальность: правом на публичную саморепрезентацию и возможностью ее немедленно реализовать наделен теперь каждый желающий. Однако эта новая ситуация не отменяет, а, напротив, обостряет вопрос о смысле чтения и исследования эгодокументов «незамечательных» людей.

Что может исследователь вычитать из дневника обыкновенного человека? Что такое обыкновенность, можно ли ее определить? Каким образом обычные люди принимают участие «в

изобретении истории» и «каким образом история общества вписана в их язык и тело?» [Козлова 2005: 28]. Как пишут о себе эти обычные люди? Какие аналитические стратегии применимы при изучении их текстов? Что вообще может исследователь вычитать из дневника обыкновенного человека и может ли он избежать искушения не «вычитывать», а, наоборот, «вчитывать» в текст иные смыслы, продиктованные собственным опытом и языком, отличным от опыта и языка того, кто говорит в автотексте? На подобные вопросы стремилась, например, ответить в своих книгах процитированная выше социолог Наталья Козлова, пытавшаяся исследовать «голоса из хора», сделать видимым то, что составляет остающиеся в зоне «слепого пятна» фоновые практики [Волков 1997].

В данной статье я хочу присоединиться к этой исследовательской традиции и сделать объектом внимания два текста советского времени, к которым можно равным образом применить определение «дневник обыкновенной женщины», но при этом само понимание «обыкновенности» и стратегии ее вербализации в них абсолютно раз-

личны.

Надо подчеркнуть, что вообще понятие «обыкновенность»/ «обыкновенный человек» трудно определимо при всей своей кажущейся очевидности. Можно ли соотнести его с любимым в советском дискурсе выражением «простой советский человек», которое авторы исследования начала 1990-х гг. деидеализируют, признавая главными чертами такого человека «массовидность, деиндивидуализированность, противопоставленность всему элитарному, своеобразному, доступность для контроля, примитивность уровня запросов» [Советский простой человек 1997: 8]? В таком контексте обыкновенному (простому) человеку противопоставляется «непростой» – герой, выдающаяся личность, творец. Или обычный человек – это типичный, «средний», тот, кто обладает «волей к норме», кто не годится в герои серии «Жизнь замечательных людей»? Или это тот, кого называем «маленьким человеком», «лузером», «маргиналом», кто является не субъектом, а объектом власти, доминируемым, а не доминирующим, и кому противостоят люди, обладающие властью, распоряжающиеся властными ресурсами, «выигравшие», удачники?

Все эти вышеприведенные понятия, так или иначе соотносимые с дефиницией «обыкновенный человек», «обыкновенная женщина», на первый взгляд малоприменимы к Нине Сергеевне Лашиной (1906–1990), дневниковые записи которой с 1929 по 1967 г. изданы под названием «Дневник русской женщины» в 2011 г. Юрист по образованию, Лашина служила в разных советских учреждениях, пыталась заниматься литературным трудом, в 50-е гг. работала в журнале «Крокодил». Дворянка по происхождению, образованный человек, хорошо владеющий литературным языком, склонный к рефлексии, она, однако, на протяжении всего своего многостраничного Дневника довольно последовательно и осознанно позиционирует себя как обыкновенного, рядового, частного человека, и большая часть ее записей посвящена повседневной жизни и перипетиям личной судьбы. В этом смысле дневник Лашиной дает огромный материал для исследования советской женской повседневности [см.: Fitzpatrick 1999; Белова 2013; Ransel 2015; Лебина 2015] во всем ее «блеске и нищете». Однако нас здесь будет интересовать не референтный анализ, а сам субъект письма, существенные для автора модели нарративной самоидентификации и те «тактики слабых», которые она описывает и которым сознательно или неосознанно следует сама.

Как уже было отмечено, Лашина подчеркнуто акцентирует в дневнике свою обыкновенность:

«Может быть, были и другие люди, чувствующие героический подъем <...> Я же человек обыкновенный и вокруг себя вижу людей таких же простых и обыкновенных, которым свойственны все человеческие слабости и чувства» [Лашина 2011, 1: 208]<sup>1</sup>; «Я же должна признать, что я самый средний человек» [2, 308].

Конечно, будучи современницей таких событий, как Великая Отечественная война или разоблачение культа личности Сталина, Лашина осознает их историческую значимость и свидетельствует: фиксирует, восхищается, критикует, анализирует, но при этом отмечает: «Моя попытка в этом направлении была бы подобна детскому лепету. Ведь я так мало знаю и понимаю. Да и не к чему. История будет написана умелыми руками специалистов» [2, 7].

Если Лашина в своем Дневнике и пишет историю, то это история с маленькой буквы, изображенная снизу, изнутри, представленная через описание «повседневности дней» [1, 342], рутинных дел и реакций, составляющих суть фоновых практик поведения, переживания и восприятия/воссоздания реальности. В этом смысле «историзм» в ее дневнике иной, чем в автотекстах многих ее современниц и современников [см.: Raperno 2009]. Важно еще раз подчеркнуть, что такой модус взгляда и письма интерпретируется ею как сознательный выбор: «26.04.40 Почему я об этом пишу? Потому что это и есть наша жизнь. Если вести дневник честно, то нельзя описывать только события чрезвычайные. Обычная, повседневная жизнь наша ведь занимает 90% дней и лет. И мне думается, что когда я умру, и дети, и внуки мои прочтут мои простые записки, они многое поймут глубже и будут благодарны мне» [1, 179].

Повседневность, которую описывает в своем дневнике Лашина, имеет ясно маркированное социальное и гендерное измерение: это женская повседневность и повседневность слабых, тех, кто внизу, внутри потока жизни. В акте письма автор дневника последовательно отождествляет себя с обычными, маленькими людьми, жертвами власти; она их агент, их голос, им она сопереживает и сочувствует. При этом идеологическая принадлежность этих обыкновенных людей для автора второстепенна: равную жалость у нее вызывают предприниматели-узбеки, «антисоветчики», которых она в качестве народного заседателя судит в 30-е гг., простые герои войны, немецкие обыватели – жертвы войны, рабочие люди и «безродные космополиты». Вот несколько примеров: «15.02.1930 Доверчивые и темные люди [самаркандские узбеки – мелкие предприниматели. – И.С.] они не думали о бумажках

<...> Такие беспомощные и растерянные люди, большей частью совсем не понимающие, что происходит, и почему у них отнимают дом, сад, одеяла, казаны, халаты, почему их сажают в тюрьму, берут под конвой» [1, 35–36]; «20.09.1940 Мне стало жутко. Вправе ли мы судить людей за то, в чем виноваты все, и виноваты ли люди в том, что осуждают такую тяжелую жизнь. Ведь человек прежде всего хочет есть, хочет накормить своих детей, и только потом он носитель идей» [1, 190]; «27.11.42 Конечно, командование, приказы, всякая стратегия и все такое <...> Но ведь ни в одном приказе не может быть написано: Тебе, Ваня, закрыть грудью дзот, тебе, Коля, на горящем самолете кинуться на немецкие цистерны <...> А вам, Саша и Степа, драться с немцами на кулаках, сбросить их с крыши и умереть от пуль! <...> Генералы наши умные люди, честь им и хвала! Но что были бы их приказы, не будь такого народа, таких «обыкновенных», ничем не примечательных людей» [1, 265]; «21.08.1945. [Муж присылает с фронта несколько ящиков трофеев] Два-три дня я ходила ошеломленная. Различные чувства боролись во мне. Царапали по сердцу некоторые мелочи, вроде тех, что в кармане пиджака я обнаружила раздавленные очки в золотой оправе и детские перчатки. Жалость к маленькому, униженному и оскорбленному человеку забралась в мое сердце, ведь не все же в Германии фашисты и злодеи» [2, 21] и т.п.

Обыкновенные люди, жертвы и объект манипуляций власти для автора Дневника – это *мы*, а власть предержавшие, те, кто «откормлен на славу, вымыт не наспех, а тщательно и со смыслом» [2, 290], – это *они*. Именно так Лашина последовательно позиционирует себя в акте письма, притом что в реальных ситуациях, о некоторых из которых идет речь и в вышеприведенных цитатах, она как раз действует от лица тех, кто имеет власть: она начисляет налоги, судит, проверяет общежития как «представитель министерства», разбирает жалобы как заведующий отделом писем «Крокодила». Возможно, в жизни она ведет себя иногда как власть имеющий, о чем изредка проговаривается и в Дневнике, но в дневниковом автонарративе она последовательно на стороне жертв власти.

Отношения нарративного Я и других обыкновенных людей с властью строятся в Дневнике как сюжет непонимания. «Не знаю, не понимаю» – таким рефреном на протяжении всего текста Дневника сопровождаются описания и комментарии действий власти: «15.02.1930 Работа в ОКРФО наполняет меня смятением. Я не понимаю того, что делается, не могу разобраться во

всем, что на меня налетело, не знаю, какой позиции держаться» [1, 35–36]; «20.02.1937 Умер Оржиникидзе. Недавно прошелестели слухи, что застрелился Ломинадзе. Не знаю. В газетах ничего нет. Коммунисты молчат. Спросить не у кого» [1, 138]; «25.05 37 Ничего не понимаю. Я не одна в смятении. [...] Что происходит?» [1, 142]; «31.07.1942 Из Москвы писем нет никому. Сидим в своем глухом Рождестве, как слепые котята» [1, 261]; «4.04.53 Кто и как ответит за все, как это распутается, ничего неясно. Голое сообщение, и все тут! Ничего я не понимаю» [2, 231].

Два момента в этой позиции обыкновенного человека здесь ясно маркированы. Во-первых, отчуждение от власти, которая всегда изображается как нечто непостижное уму, она никогда не часть *нас*, это *они*, действующие в каких-то своих, неясных для людей интересах. Влиять на нее или участвовать в ее выборах непосредственно невозможно. Второе – это функция информации как властного ресурса, как способа разделения на доминирующих и доминируемых («слепых котят»). Изолирование от информации, конечно, и основа для манипулятивных пропагандистских стратегий.

Ресурсы, которыми пользуется в этой ситуации обыкновенный человек, – это собственные каналы информации [слухи] и проявляемая автором Дневника эмпатия, солидарность и нарративная идентификация со слабыми, жертвами. Последнее, наверное, можно рассматривать как одну из тех тактик повседневности [см.: Серто де: 103–194], которые вызывают отклонения в функционировании власти.

Американский историк Йоханн Хелльбек, исследуя дневники сталинского времени, пишет о том, что, судя по всей логике основных революционных нарративов, преобразования (себя самого и социума), коллективизации (в общественном и индивидуальном) и очищения (политические чистки и «работа над собой») производились и воспроизводились самими советскими гражданами, которые неустанно рационализировали непроницаемые политические программы и таким образом являлись идеологической силой, действующей наравне с лидерами партии и государства [Hellbeck 2009: 39–45].

Случай Лашиной демонстрирует иные сознательные и бессознательные практики отношения с идеологическими метанарративами. И в сталинское время, и позже она отказывается «рационализировать непроницаемые политические программы», фиксируя свое непонимание, предпочитая размещать себя на полях, за пределами владений власти. Маргинализуя собственное Я через понятие обыкновенности и изображая сво-

их персонажей как частных людей, она воплощает в своем письме одну из тех описанных де Серто тактик «ускользания от власти», которые «переопределяют ее институциональные усилия» [Козлова 2005: 175].

Все вышесказанное не означает, что дневниковый нарратив Лашиной совершенно свободен от принуждений господствующего идеологического дискурса, – это, конечно, не так. Но выбранная автором дневника позиция – на периферии, «на полях» – позволяет ей смотреть на все как бы «искоса», не только через линзы официальной идеологии, но и со стороны, из маргиналии. Этот «сбитый фокус» парадоксальным образом делает взгляд зорче и дает возможность сохранять способность к рефлексии, иногда открыто деконструируя формы дискурсивного принуждения, как в записи от 2.04.56 «...без клички кулаков и мироедов они оказались просто русскими крестьянами с их женами, детьми, стариками – крестьянами, по чьему-то произволу лишенными избы, коровы, всего имущества и выгнанными с позорными кличками в вековечную жестокою ссылку» [2, 322].

Повседневность, на описании которой сосредоточен Дневник Лашиной, – это прежде всего *женская* повседневность, и большая часть Дневника посвящена гендерным отношениям и родительству. Все три брака его автора далеки от той модели семьи нового, непатриархального типа [Градскова 1999: 59–64], основанной на дружбе и равноправии, равноучастии супругов в домашних делах и воспитании детей, о которой она мечтает, так как все трое ее мужей придают большое значение собственной свободе, часто перекладывая финансовые проблемы, ответственность за принятие решений и воспитание детей на плечи жены.

В такой ситуации для того, чтобы выжить и сохранить семью, как следует из Дневника, возможны две тактики. Первая – это тактика патриархального контроля, которую подробно излагает сестра третьего мужа дайаристки, Вячеслава Лашина. «20.02.54 Зина считает, что жена должна держать мужа в руках, для его же блага ограничивать его во всем, в случае проявления первых признаков лжи немедленно установить за ним контроль, проверять каждый его шаг, пресекать всякие его злоупотребления в самом начале, касается ли это вина или женщин. Она утверждала, что во всем, что произошло, виновата я сама, потому что не руководствовалась этими мудрыми правилами, бросила вожжи и пустила события на самотек» [2, 283].

Тактики скрытого лидерства зачастую использует в жизни и сама дайаристка, однако в

акте письма она подчеркивает свою приверженность другой модели женского поведения, связанной с концептом не «новой», а традиционной, патриархальной семьи: она описывает себя как всепрощающую и жертвующую собой женщину. В этом смысле идеальным образцом для нее является собственная мать, которая была оставлена мужем с тремя маленькими детьми на руках [кроме их общего младшего сына, был и ребенок мужа от другой женщины и еще племянница], безропотно их растила и самоотверженно принимала участие в воспитании внуков, одновременно до глубокой старости работая в школе. «5.04.32 Все отношения мамы к родным и чужим <...> – это любовь. Часто эта любовь остается безответной, но от этого она не пропадает. Как терпеливо и кротко она относится к обоим сыновьям, таким грубым с нею! Как ласково и безотказно ухаживает за внучатами, жертвуя сном и отдыхом <...> И при всем этом ни одной мысли о себе, для себя <...> она может спать не на кровати, если кровать кому-то понадобится, а на стульях, может не обедать, если не хватило другим. Она никогда не задумывается над своими собственными нуждами, просто отказывая себе во всем и ничто не вызывает ее недовольства, раздражения. Напротив, во всех случаях она очень довольна» [1, 57–58].

Меряя свою жизнь максималистским идеалом жертвенного самоотречения, Лашина ощущает непреходящее чувство вины перед всеми своими домашними, но в первую очередь – перед детьми. Если в ее отношениях с мужчинами две модели жены (старая и новая) конкурируют между собой, то по отношению к детям она последовательно стремится выполнять роль ответственной, жертвующей матери. Дети для нее – безусловная и главная ценность и цель, им, подробно и весьма беспристрастному описанию их характеров и проблем, посвящена большая часть дневника. «8.05.33 Дети, которым я практически отдаю всю свою жизнь, время, труд, являются для меня неиссякаемым источником радости. Счастье для меня и в страданиях за них, в лишениях, которые я сознательно терплю из-за них» [1, 98].

Описания таких лишений и страданий часто встречаются на страницах Дневника, который фиксирует порой гигантское, невыносимое напряжение автора в попытках соответствовать идеалу жертвенной матери при необходимости работать – в ситуации, когда мужчины по объективным и субъективным причинам не способны обеспечить семью, а государство принуждает к трудовой деятельности, иногда напоминаящей рабский труд.

Постоянное напряжение и неизбежное чув-

ство вины приводят к ситуациям бунта – словом и «телом». Дневник становится местом, где можно выплеснуть, выкричать свое страдание и усталость и нарушить табу (например, подвергнуть сомнению святость и неизбежность материнства), а «бунт телом проявляется в депрессиях, нервных срывах, тяжелый нервных болезнях, которые также описываются в Дневнике: «На почве невращения и истощения я почти потеряла зрение. Не могла ни писать, ни читать, ни шить» [10.02.45; 1, 343]; «Всю ночь я продолжала плакать. Слезы, продолжавшиеся больше 30-ти часов, уносят душу, и это так и было» [3.12.52; 2, 211]. Жизнь обыкновенной советской женщины, жены и матери, отягощена кроме разного рода моральных страданий массой известных материальных проблем, среди которых наиболее острым представляется пресловутый квартирный вопрос. Описанию коммунального советского быта посвящено много страниц Дневника: «1.04.1932 Теперь в двух комнатах живут 11 человек, плюс мокрые пеленки и детский крик с утра до вечера» [1, 56]; «26.09.44 Повернуться невозможно. Чтобы выйти из комнаты, нужно всех потревожить. Кто-то должен подвинуться, кто-то встать со стула» [1, 341] и т.п.

Отсутствие частного пространства у автора Дневника, как и у всех остальных членов семьи, не только делает невозможной интимную супружескую жизнь, но и выхолащивает само содержание понятия семьи: внутри этого коллективизированного быта невозможно быть дочерью, матерью, женой в том смысле, который представляется Лашиной правильным и естественным. «29.09.45. Я люблю его [мужа, Костю. – И.С.] не только женской любовью, но и материнской <...> Нам с ним обоим тяжело живется. Мы никогда не бываем вдвоем. Поговорить нам друг с другом не представляется возможным. Мои и его желания сразу получают отзывы, оценки, вопросы других людей. <...> Я страдаю. В нынешней обстановке наша любовь и дружба обречены на чахлое и жалкое существование. Я даже не могу по-настоящему рассмотреть, каким он стал после войны» [2, 23–24].

Чтобы в таких обстоятельствах просто жить, «обывать», быть обыкновенной, нормальной женщиной, нужно совершать усилия самопожертвования, иногда непосильные. Идея героического и агиографическая модель биографического нарратива используются в дневнике Лашиной не для описания ситуации «жизнь за царя», за родину, за коммунизм или религиозного духовного подвига; в этой парадигме описывается обыкновенное женское существование в непрерывных усилиях по обузданию хаоса, энтропии

повседневной бытовой жизни.

Дневниковый текст другой обыкновенной советской женщины – Марии Петровны Сусловой (1926–2008) принципиально отличается от Дневника Н.С. Лашиной. Его автор – деревенская женщина, которая родилась в 1926 г., окончила 7 классов сельской школы, четыре года была работницей металлургического завода в г. Березники. Выйдя замуж, в 1957 г. переехала в село Комгорт Пермского края, где работала дояркой, продавцом, бригадиром полеводческой бригады, заведующей фермой. Сулова – мать троих дочерей и бабушка шести внуков. Дневник она начала писать после смерти матери в 1981 г. и вела его два десятка лет. В 2000 г. она подарила преподавателям Пермского госуниверситета Ирине Ивановне Русиновой и Анне Владимировне Курниковой несколько тетрадей своих дневников, и те опубликовали записи за 1981–1985 гг., снабдив их комментариями и присоединив к тексту Дневника Сусловой ряд статей, детально исследующих этот текст в лингвистическом, социолингвистическом, нарративном и культурологическом аспектах. Публикаторы совершенно обоснованно видят в записях М. П. Сусловой образец наивного письма и называют его бытовым дневником. Как и Дневник Лашиной, дневниковый текст М. П. Сусловой может служить богатым источником для изучения исторической реальности: он содержит массу бесценной информации о разных аспектах жизни российской деревни на излете советского времени.

Но хотелось бы сосредоточить внимание на рассмотрении тех же вопросов, которые обсуждались выше на материале дневника Н. С. Лашиной, и попытаться выяснить, какое представление об обыкновенной жизни обычной советской крестьянки создается при чтении этого дневника и какими способами в тексте Сусловой репрезентирована эта обыкновенность. Трудность формулирования ответа на последний вопрос заключается в том, что, в отличие от Лашиной, Сулова никогда и нигде не обсуждает собственную позицию и ее дневник свободен не только от всяких проявлений рефлексии, но и вообще от любого прямого выражения чувств и оценок.

Перед нами образец наивного письма [Козлова, Сандомирская 17], наивного дневника [Михеев 2007: 83] или наивного дискурса [Русинова 2007а: 219], т.е. текст, написанный человеком, для которого «практика письма не является обязательной ни в профессиональной, ни в обыденной жизни» [Козлова, Сандомирская 1996: 13]. Текст Сусловой многими своими свойствами

напоминает блестяще проанализированный Натальей Козловой и Ириной Сандомирской автобиографический нарратив Евгении Киселевой, но в то же время и существенно от него отличается, так как представляет собой не спонтанный поток произвольно, без соблюдения грамматических норм, записанной устной речи, а бытовой дневник, стремящийся быть хроникой, отчетом. Как замечают публикаторы, выйдя на пенсию, Мария Петровна работала «наблюдателем природы», т.е. фиксировала и передавала на метеостанцию наблюдения над природой и погодой. Можно высказать предположение, что именно практика писания такой метеохроники (по определенной схеме) дала в руки Сусловой модель, которую они применила к описанию собственной ежедневной жизни, тем более что природа и состояние погоды, как показала И.И. Русинова, – важнейшая составляющая ее картины мира [Русинова 2007а: 224]. Как замечают те же публикаторы, «в живом общении Мария Петровна – очень эмоциональный, ироничный человек, ее речь пестрит шутками, остроумными поговорками и притчами» [Русинова, Курникова 2007: 6], в то время как дневник отличают сухость, протокольность, практически полное отсутствие оценочных слов и конструкций [Русинова, Вяткина 2007]. Вероятно, та модель хроники или отчета, которая мотивировала Сулову к ведению дневника, виделась ей как нормативная модель письма, принципиально противоположная устной речи с ее эмоциональностью и нелогичностью. Сулова пишет достаточно правильным языком, но не разделяет запись на логические сегменты, практически не пользуется запятыми, точками и заглавными буквами. Ее Дневник, как и другие формы наивных автодокументальных текстов, можно вслед за Н. Козловой [Козлова 2005: 60–61] назвать образцом бессубъектного письма в философском смысле слова, где под субъектом понимается рефлектирующее Я, с достаточной степенью осознанности позиционирующее себя в историческом времени. В наивном письме «история уступает место живому времени» [Козлова, Сандомирская 1996: 42]; человек пишет каждый раз из того момента, где он находится сейчас, не понимая и не анализируя этот момент и себя в нем как часть какой-то более универсальной целостности. Если для Лашиной писать с позиции «маленького человека» – это выбор, то для Сусловой – это безальтернативный вариант. Что включает в себя эта «органическая позиция», какие черты и свойства женской обыкновенности мы можем «вычитать» из дневника Сусловой?

В отсутствие рефлексий и оценок главное, что

может быть объектом анализа, – это принципы составления перечней событий: что именно включается в них и что исключается; что упоминается часто, а что редко; что описывается как собственное действие, а что – как разделенное.

Такой анализ сразу показывает общность позиции Лашиной и Сусловой по отношению к власти. Мир большой политики существует вообще за пределами мира автора Дневника. Телевизор, который мог бы выполнять положенную функцию медиатора, используется в качестве «домашнего кинотеатра», так как из телепрограмм упоминаются только кинофильмы, просмотр которых является частью вечерней рутины, и один раз упоминается телеконцерт. Смерть и похороны Л.И. Брежнева зафиксированы в Дневнике тоже скорее как своего рода событие телепрограммы, а не политики. Но и структуры, представляющие государство в ближнем пространстве, тоже не часто удостоиваются упоминания. Слово «колхоз» отсутствует в записях, дважды мелькает «собрание» и «заседание». «Писала наряды» [Сулова 2007: 79]<sup>2</sup>, «дежурили на ферме» (80) «получила медаль Ветеран труда» (86) – этим исчерпывается информация о взаимодействии автора дневника с общественными и властными структурами. Государство дает зарплату («получку»), отпускные и пенсию, и этим его влияние на повседневную жизнь ограничивается. То есть можно сказать, что в отношениях с государством и властью (близкой и дальней) проявляются те же тактики неучастия, игнорирования, которые мы видели и в Дневнике Лашиной. По крайней мере, эти отношения не представляются Сусловой такими важными, чтобы войти в отчет о прожитом дне. Как пишет И.И. Русинова, деревенскими жителями «существующая власть воспринимается фаталистически, как нечто совершенно не зависящее от их воли» [Русинова 2007б: 241].

На карте того мира, который воссоздается из записей Дневника, есть дом, огород, улица, дома родных и соседей, кладбище, река, поля, покосы, лес, дорога (ведущая в Вильгорт). Это мир природный и семейный, общинный, традиционный. Мир современный, т.е. мир советской деревни, представлен магазином, фермой и клубом, где проходит «Огонек» и бал-маскарад. Как и мир рабочего поселка в наивном тексте Евгении Киселевой, мир пермской деревни в Дневнике Сусловой тесный и телесный. Люди живут большой семьей, постоянно ходят друг к другу, помогают, делятся, дают в долг, ночуют у соседей и родственников, вместе работают, едят, пьют, играют в карты и смотрят телевизор. В этом деревенском мире середины 80-х ощутимы черты

традиционного общества и общинного стиля жизни. «Я» в записях то и дело превращается в «Мы»: «делала окрошку топили баню носили дрова» (67); не разделенные запятыми или соединенные математическими плюсами имена «слипаются» в какого-то многоголового коллективного актора: «Я Нина Зоя Витя и ребята делали окрошку (66); «пили у Насти в складе Настя+Настя+Я+Нина+Ваня» (18).

Рутинная, обыкновенная, ежедневная женская жизнь, которую фиксирует Сулова в записях Дневника, состоит из никогда не прекращающейся работы по дому и по хозяйству, рыбалки, собирания грибов и ягод, интенсивного общения и не менее интенсивного «пирования». Центром этого мира является, несомненно, семья. Дочери живут отдельно, но общение с ними реальное, по телефону или через письма и открытки, очень интенсивное. Запись «очень жду письма от девок» (43) – одна из немногих, где есть прямо, словесно выраженная субъективная эмоция. Сулова с мужем помогают дочерям деньгами (135), в деревне гостят внуки, которых бабушка обихаживает (моет, стирает, кормит, наказывает, вяжет им носки). Многократно описываются контакты со свекровью и свекром и другими родственниками. Но центральная фигура в дневнике – это муж. Несмотря на то что, судя по Дневнику, семейную жизнь Суловых нельзя назвать идиллически гармоничной, отбор фактов, частота упоминаний и форма фиксации позволяет видеть, что муж – почти второе Я Дневника. Ежедневный перечень занятий мужа такой же подробный, как и список собственных дел Марии Петровны. В назывании мужа – единственного из персонажей Дневника – используются многообразные номинации, и только по отношению к нему эти номинации иногда имеют оценочную, эмоциональную окраску, что вообще не характерно для протокольного стиля бытового дневника Суловой. Муж называется не только «он» или «Ваня», но *муж* (11) *мужик* (18), *сам* (82, 103), *тот* (87), *лежебока* (96, 123), *тунка* (т.е. тунец – 98), *идол* (56, 131), *Хренов* (32), *жадина* (51). В основном, как уже говорилось, подробно описываются разнообразные работы мужа: и собственно «мужские», и такие, которые они делают совместно. Не меньшее внимание уделено тем моментам, когда муж не выполняет своих обязанностей «хозяина», потому что пьет. Хроника действий, событий приобретает, несмотря на отсутствие экспрессивных эпитетов, весьма драматичный характер: «ругались не разговариваю» (51), «не работал дебоширил» (63), «выступал вечером» (101), «пьян дрался» (72) «брал бутылку один жорал» (80), «не давал спать

целую ночь» (55), «хватал на меня топор дрался» (31), «деньги не дал купил бутылку я отняла» (35), «пьян вывалялся в грязи я тоже упала вместе с ним его вела» (36), «шатался по Комгорту» (125), «дебоширил чуть не уронил гроб» (153), «он пировал с субботы до четверга целый день ничего не делал (22). Отношения между Иваном и Марией активно двусторонние. Она контролирует мужа, ищет и конфискует спрятанные бутылки и наказывает молчанием. Запись «не разговариваю» – одна из наиболее частотных. Роль женщины как матриарха, контролера, того, на ком лежит ответственность за поддержание порядка и выживание, в Дневнике Суловой так же очевидна, как у Лашиной или в наивной автобиографии Евгении Киселевой [см.: Козлова, Сандомирская 1996: 72]. И так же, как Лашина и Киселева, Сулова, в общем-то описывает такой порядок жизни как естественный. В автобиографии, сопровождающей публикацию Дневника, рассматривая жизнь как судьбу, она резюмирует все эти зафиксированные «надрывы в избе», если воспользоваться выражением Ф.М. Достоевского, как нормальную и даже счастливую семейную жизнь: «с мужем на пенсии занимались рыбалкой любили лес держали своего скота жили дружно растили детей» [Сулова 2007: 10].

Тем не менее форма простодушного отчета-хроники, которую имеет Дневник Суловой, позволяет увидеть и то, что роль женщины не только героически-страдательная. Некрасовская формула «он до смерти работает, до полусмерти пьет», кажется, годится и для описания жизни в колхозной деревне на излете существования СССР.

В Дневнике упоминаются такие организованные формы досуга, как бал-маскарад или «Огонек» в клубе; Сулова с подругами и соседями смотрят также фильмы по телевизору, играют в карты и лото. Но основной формой досуга безусловно является выпивка, в которой участвуют все, в том числе женщины и сама автор Дневника. В нем есть две сферы жизни, которые описаны наиболее разнообразно: это мир природы [см.: Русинова 2007а: 237–239] и мир алкоголя. Покупают «красную бутылку», «ходят по вино» и «берут пиво», пьют вермут, тройной одеколон, уральскую, любительскую, пиво бутылочное, пиво жигулевское, какой-то экзотический даллер, похмеляются чекушкой, сдают «посуду бомбы», варят самогон, ставят квас и пиво, покупают по 1, 47 (рубли 47 копеек), по 2.56, 2.45, 6.20, 2.80, 5.30, 3.42. Это мир, где питье – не веселие, а повседневная практика.

Слово «пьян», вероятно, самое частотное в Дневнике. Оно обычно пишется в скобках, кото-

рые являются практически единственным знаком препинания, который Сулова последовательно использует в дневнике. По какому принципу она заключает слова в скобки, не совсем ясно, но чаще всего в скобки ставится слово «пьян». Во многих случаях, вероятно, оно имеет отношение к состоянию мужа Ивана, но далеко не всегда. Кажется, что часто оно фиксирует сам факт пьянствования и опьянения, в котором участвуют родственники, подруги, соседи, товарки и она сама: «посидели с Ваней» (70), «я напилась пьяна» (51), «выжорал у меня одеколон жадина» (51), «пировали с Зойкой после стирки» (52), «Толя забурился» (54), «гнали с Витей самогон» (55), «Нинки не было дома пьянствует была у Веры Мезенцевой все пьяны» (56), «подпила изрядно» (64), «Нина по деньги ей дала она пьет уже неделю (85), «пили рано утром пиво и водку» (92), «Настя валялась у нас под окном вся в грязи» (109), «сгуляли с Надей и Верой» (128) и т.д.

Питье – органическая часть повседневности, важная составляющая обыденности. Это доказывает и тем, что в Дневнике встречаются записи типа «не пила» (105), «ничего не пила» (90). Как представляется, подобные фиксации того, что автор Дневника *не* делала, особенно значимы в контексте нашей темы, так как именно они есть маркеры обыденности. Если нарушается рутинный ход жизни, что-то привычное и необходимое изымается, то это «зияющее отсутствие» становится событием, достойным упоминания в хронике. «Картошку не варила, корову не доила» (52), «печь не топила в магазин не ходила» (25), «не косила не топила» (65), «ужин не готовила» (64), «кино не смотрели» (98), «ничего не делала лежала на печи» (146). В этом же ряду «ничего не пила» (90). Интересно отметить, что такой же частью обыденной жизни и повседневности становится для Суловой ритуал ведения своей дневниковой хроники. Примерно через год после начала ведения дневника сам факт документирования осознается как достойное записи событие дня: «записала дневник» (53), «записала свой дневник» (82), «писала свои талмуть» (84), а в какой-то момент это действие начинает ощущаться как норма, как часть жизненной рутины, так как появляются примеры «негативной фиксации»: «не записывала» (88).

То, что ведение дневника становится для Суловой обыденным делом, фактом повседневности, свидетельствует о том, что в ее жизни существуют или в ее жизнь входят практики, чуждые традиционному обществу, в котором отсутствует или не сформировалась зона приватности.

Мы отмечали, что Лашина страдает от отсутствия своего приватного пространства. Сулова по понятным причинам дефицит приватного пространства и частной жизни нигде и ни в какой форме не маркирует. Однако сама интенция ведения дневника объединяет этих столь разных женщин. Для обеих дневник является такой приватной зоной, но для Суловой приватное не является синонимом персонального. Она живет как бы на границе традиционного и современного. Несмотря на существование в природном, циклическом времени [см.: Русина 2007а], Сулова отлучена от тех функций, которые в традиционном крестьянском обществе выполняли старые женщины, потерявшие способность к деторождению: контролировать следование традиции, принимать роды, ворожить, пестовать, лечить больных, готовить мертвых в последний путь [Кабакова 2001, Прокопьева 2005]. Как бы ни была она равнодушна к политическим событиям и социальным формам общежития, но она безусловно приобщена к другим, не традиционным формам социокультурного бытия. Сулова не рассказывает или причитает, она не транслирует родовое предание, она пишет личный дневник, лишенный персональности, реализуя имеющийся у нее ресурс грамотности и советской «культурности».

Анализ двух женских дневников советского времени показывает, насколько разной может быть советская женская обыденность, обыденность, и какими различными могут быть нарративные стратегии ее воплощения в дневниковом тексте. Но, несмотря на эти очевидные, не нуждающиеся в длинных комментариях различия, мы можем видеть и нечто общее, например, в отношениях авторов дневника с властным дискурсом и гендерными стереотипами.

С одной стороны, двойная маргинальность *обыкновенных женщин* позволяет им отчасти избегать идеологического принуждения, не участвовать в играх власти. С другой стороны, дневники показывают огромную их зависимость от доминантных представлений о роли женщины – жертвенной матери и ответственной, контролирующей жизнь мужа и семьи жены. Эти матриархальные практики изображаются в дневниках (у Лашиной – сознательно; у Суловой – непроизвольно) как неизбежные, необходимые для выживания. А «для души» они пишут дневник, создавая в самом акте письма какое-то пространство приватной свободы. Ничего особенно в их записях, кажется, нет, но эта «обыденность» завораживающе интересна.

Об этом же пишет в своем стихотворении, строка из которого стала эпиграфом к этой ста-

ть, поэт Александр Кушнер, изображая Бога, который взирает на простого, незамечательного человека. «Он читает в сердце дяди Пети, С удивленьем смотрит на него. Стружки с пылью поднимает ветер. Шепчет дядя: этого...того... Сколько бед на горьком этом свете! Загляденье, радость, волшебство!»

### Примечания

<sup>1</sup> В дальнейшем указывается только том и номер страницы.

<sup>2</sup> Далее цитаты даются только с указанием страницы в круглых скобках.

### Список литературы

Белова А. В. Женская повседневность как предмет истории повседневности: историографический и методологический аспекты // Российская повседневность в зеркале гендерных отношений / отв. ред. и сост. Н. Л. Пушкарева. М.: Новое лит. обозрение, 2013. С. 25–67.

Волков В. В. О концепции практик[и] в социальных науках // Социол. исслед. 1997. № 6. С. 9–23.

Градскова Ю. «Обычная» советская женщина – обзор описаний идентичности. М.: Sputnik, 1999. 155 с.

Козлова Н. Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Изд-во Европа, 2005. 527 с.

Козлова Н. Н., Сандомирская И. И. «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингвосоциологического чтения. М.: Русское феноменологич. общество, Гнозис, 1996. 256 с.

Лашина Н. С. Дневник русской женщины: в 2 т. М.: КПЦ «Преображение», 2011. Т. 1. 1929–1945 гг. 368 с.

Лашина Н. С. Дневник русской женщины: в 2 т. М.: КПЦ «Преображение», 2011. Т. 2. 1946–1967 гг. 488 с.

Льбина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М.: Новое лит. обозрение, 2015. 488 с.

Михеев М. Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). М.: Водолей Publishers, 2007. 264 с.

Русинова И. И. Наивный дискурс (на материале личного дневника диалектоносителя) // Сусллова М. П. Дневник (1981–1985 гг.). Публикация и исследование текста / отв. ред. И. И. Русинова; Перм. ун-т. Пермь, 2007а. С. 219–234.

Русинова И. И. Образ человека в дневнике диалектоносителя. // Сусллова М. П. Дневник (1981–1985 гг.). Публикация и исследование текста / отв. ред. И. И. Русинова; Перм. ун-т. Пермь, 2007б. С. 235–242.

Русинова И. И., Вяткина И. И. Грамматические особенности дневниковых записей диа-

лектоносителя // Сусллова М. П. Дневник (1981–1985 гг.). Публикация и исследование текста отв. ред. И. И. Русинова; Перм. ун-т. Пермь, 2007. С. 188–195.

Русинова И. И., Курникова А. В. Предисловие // Сусллова М. П. Дневник (1981–1985 гг.). Публикация и исследование текста / отв. ред. И. И. Русинова; Перм. ун-т. Пермь, 2007. С. 4–7.

Сертто де. М. Изобретение повседневности. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2013. 332 с.

Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х / А. А. Голов, А. И. Гражданкин, Л. Д. Гудков и др.; отв. ред. Ю. А. Левада. М.: Мировой океан, 1993. 300 с.

Сусллова М. П. Дневник (1981–1985 гг.). Публикация и исследование текста / отв. ред. И. И. Русинова; Перм. ун-т. Пермь, 2007. 264 с.

Fitzpatrick S. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. Oxford: Oxford University Press, 1999. 228 p.

Hellbeck J. Revolution in my Mind. Writing a Diary under Stalin. Cambridge and all: Harvard University Press, 2009. 448 p.

Paperno I. Stories of the Soviet Experience. Memoirs, Diaries, Dreams. Itaka, London: Cornell University Press, 2009. 285 p.

Ransel D. L. The Scholarship of Everyday Life // Everyday Life in Russia Past and Present. C. Chatterjee, D. L. Ransel, M. Cavender, and K. Petroine [eds.]. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2015. P. 17–34.

### References

Belova A. V. Zhenskaja povsednevnost' kak predmet istorii povsednevnosti: istoriograficheskij i metodologicheskij aspekty [Women's everyday life as a subject of history of everyday life: historiographical and methodological aspects]. Rossijskaja povsednevnost' v zerkale gendernykh otnoshenij [Russian everyday life in the mirror of gender relations] / ed. by N. L. Pushkareva. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2013. P. 25–67.

Certeau M. de Izobretenie povsednevnosti [The Practice of Everyday Life]. St. Petersburg: European University at St. Petersburg Publ., 2013. 332 p.

Fitzpatrick S. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. Oxford: Oxford University Press, 1999. 228 p.

Gradskova Ju. «Obychnaja» sovetskaja zhenshhina – obzor opisanij identichnosti. [The "ordinary" Soviet woman – review of descriptions of identity]. Moscow: Sputnik Publ., 1999. 155 p.

Hellbeck J. Revolution in my Mind. Writing a Diary under Stalin. Cambridge and all: Harvard University Press, 2009. 448 p.

*Kozlova N. N.* Sovetskie ljudi. Stseny iz istorii. [Soviet people: scenes from history]. Moscow: Evropa Publ., 2005. 527 p.

*Kozlova N. N., Sandomirskaya I. I.* «Ja tak kochu nazvat' kino». «Naivnoe pis'mo»: opyt lingvosotsiologicheskogo chtenija. [This is how I want a movie to be called. Naive writing. Linguo-Sociological Reading]. Moscow: Russkoe fenomenologicheskoe obshhestvo, Gnozis Publ., 1996. 256 p.

*Lashina N. S.* Dnevnik russkoj zhenshhiny. [Diary of a Russian woman]. Moscow: Preobrazhenie Publ., 2011. Vol. 1 (1929-1945). 368 p.

*Lashina N. S.* Dnevnik russkoj zhenshhiny. [Diary of a Russian woman]. Moscow: Preobrazhenie Publ., 2011. Vol. 2 (1946-1967). 488 p.

*Lebina N. B.* Sovetskaja povsednevnost': normy i anomalii. Ot voennogo kommunizma k bol'shomu stilju. [Soviet everyday life: norms and anomalies. From military communism to big style]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2015. 488 p.

*Mikheev M.* Dnevnik kak ego - tekst (Rossija, XIX-XX). [Diary as ego – text (Russia, XIX-XX)]. Moscow: Vodolej Publ., 2007. 264 p.

*Paperno I.* Stories of the Soviet Experience. Memoirs, Diaries, Dreams. Itaka, London: Cornell University Press, 2009. 285 p.

*Ransel D. L.* The Scholarship of Everyday Life // Everyday Life in Russia Past and Present. C. Chatterjee, D. L. Ransel, M. Cavender, and K. Petroine [Eds.]. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2015. P. 17-34.

*Rusinova I. I.* Naivnyj diskurs (na materiale lichnogo dnevnika dialektonositelja [Naive discourse (a case study of a personal diary of a dialect speaker)].

*Suslova M. P.* Dnevnik (1981-1985 gg.). Publikatsija i issledovanie teksta. [Diary (1981-1985). Publication and research of the text] / ed. by I. I. Rusinova. Perm: Perm State University Publ., 2007. P. 219-234.

*Rusinova I. I.* Obraz cheloveka v dnevnike dialektonositelja. [Image of a person in a diary of a dialect speaker]. *Suslova M. P.* Dnevnik (1981-1985 gg.). Publikatsija i issledovanie teksta. [Diary (1981-1985). Publication and research of the text] / ed. by I. I. Rusinova. Perm: Perm State University Publ., 2007. P. 235-242.

*Rusinova I. I., Vjatkina I. I.* Grammaticheskie osobennosti dnevnikovyx zapisej dialektonositelja. [Grammatical features of diary entries of a dialect speaker]. *Suslova M. P.* Dnevnik (1981-1985 gg.). Publikatsija i issledovanie teksta. [Diary (1981-1985). Publication and research of the text] / ed. by I. I. Rusinova. Perm: Perm State University Publ., 2007. P. 188-195.

*Rusinova I. I., Kurnikova A. V.* Predislovie. [Preface]. *Suslova M. P.* Dnevnik (1981-1985 gg.). Publikatsija i issledovanie teksta. [Diary (1981-1985). Publication and research of the text] / ed. by I. I. Rusinova. Perm: Perm State University Publ., 2007. P. 4-7.

*Sovetskij prostoj chelovek: Opyt sotsial'nogo portreta na rubezhe 90-kh* [The ordinary Soviet person: a social portrait (1990s)] / Golov A. A., Grazhdanin A. I., Gudkov L. D. et al./ ed. by Levada Ju. A. Moscow: Mirovoj okean Publ., 1993. 300 p.

*Volkov V. V.* O kontseptsii praktik[i] v sotsial'nykh naukakh. [On the conception of practice(s) in social sciences]. *Sotsiologicheskie issledovanija. [Sociological Studies].* 1997. Iss. 6. P. 9-23.

## **«I'M JUST AN ORDINARY PERSON»: TWO WOMEN'S DIARIES FROM SOVIET TIMES**

**Irina L. Savkina**

**Lecturer in the School of Language, Translation and Literary Studies  
University of Tampere, Finland**

The article presents a study of diaries written by two women, N.S. Lashina (1906–1990) and M.S. Suslova (1926–2008). Both diaries can be defined as «diaries of everyday life», «diaries of ordinary women». The comparison of a self-reflective diary with a naive routine diary makes it possible to specify the differences in the understanding of «ordinariness» as well as in verbal strategies of its representation. On the other hand, the comparison helps to find common features in behavioural tactics of relations with the authorities, since the situation of double marginality (social and gender) allows one to keep distance from the «games of the authorities», at least to some degree. At the same time, both diaries demonstrate strong dependence of the authors on dominant opinions on a woman's role – as a sacrificial mother and a responsible wife who controls the life of her husband and family. These matriarchal practices are present in the diaries (purposefully in Lashina's diary and unintentionally in Suslova's diary) as unavoidable and essential elements of survival.

**Key words:** woman's diary; naive writing; ordinariness; history of everyday life; gender relations.